
НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ

ЧЕТЫРЕ РУСЛА

Размышления о поэзии Михаила Вишнякова

Ровно четверть века тому назад, находясь как раз на половине пути к своему нынешнему возрасту, я вдруг очутился за несколько тысяч километров от своего родного Донбасса в никогда ранее не виденном мною городе со странным названием Чита. Выйдя на привокзальную площадь, в центре которой стоял по-бурятски коротконогий и большеголовый памятник Ленину, я спросил у прохожих, где мне найти геологическое управление, и отправился устраиваться на работу. Кем же ещё и работать-то поэту в Сибири, как не геологом? “А путь и далёк, и долог, и нельзя повернуть нам назад. Держись, геолог, крепись, геолог, — ты ветра и солнца брат...” Так я побывал в Красноярском крае, поработав там сезон проходчиком канав и повидав Ангару, Енисей и удивительную красноярскую тайгу с кочующими по ней “бичами” и романтиками. Так же я оказался и в Забайкалье, устроившись сначала маршрутным рабочим в одной из геологосъёмочных партий, ведущих работы в долине знаменитой реки Нерчи (по которой неистовый протопоп Аввакум тащил когда-то с матушкой по льду свои сани, а несколько веков спустя отбывали свои сроки декабристы), да так потом и застряв там на три года, перейдя в работавшую в долине реки Олёкмы партию сперва техником-геологом, а чуть погодя — завхозом...

Здесь-то, в Чите, я впервые и узнал имя поэта Михаила Вишнякова, купив в местном магазине его сборник “Багульник на северном склоне” (Иркутск, 1977), а некоторое время спустя — и “Грянул срок” (Иркутск, 1980). Не скажу, что я сразу же и навсегда полюбил и запомнил стихи незнакомого мне автора — в памяти осталась, скорее, некая “аура” прочитанных книжек, которые были наполнены тайгой, Читой, декабристами, лесными ветрами и тропами, дыханием давно минувших эпох и многим из того, о чём я тогда ещё не писал и даже не задумывался, хотя к тому времени уже года три-четыре публиковался в областных и районных газетах Донецкой области. А вот имя автора прочитанных сборников запомнилось и надолго засело в моей памяти, так что все последующие годы, даже покинув Забайкалье и осев после многолетних странствий в Москве, я хорошо помнил, что в Чите живёт такой мощный поэт, которого зовут Михаил Вишняков.

И вот — новая встреча через 25 лет, и, так сказать, моё второе для себя открытие этого талантливой сибирского стихотворца, которое стало возможным благодаря московскому издательству “Русь”, выпустившему под редакцией известного Санкт-Петербургского прозаика Николая Коняева двухтомник “Стихи и поэмы” (Москва, 2005).

Читая две эти изящно и вместе с тем предельно строго оформленные книги, просто нельзя, на мой взгляд, не обратить внимание на то, что их содержание довольно отчётливо разбивается на четыре своеобразных “тематических русла”, которые, будучи каждое само по себе вполне самостоятельным,

все вместе, складываясь, подобно частям математического многочлена, в некую суммарную величину, подводят читателя к некоторым определённым мировоззренческим выводам.

Первое из четырёх этих “русел” (и едва ли не быстрее других вычленимое из состава двухтомника в силу узнаваемости разбросанных по нему имён) охватывает стихотворения, представляющие собой своеобразный диалог с давно ушедшими классиками русской литературы или сегодняшними друзьями и коллегами поэта по литературному творчеству. Это стихи о пребывании Чехова в Забайкалье, о читинском актёре и прозаике Илье Лаврове, о принявшемся разговоре с китайским поэтом Ли Бо, об историке Н. М. Карамзине, о поэте Валерии Брюсове, о дне рождения Пушкина, о приезде Твардовского в Забайкалье, о посмертной судьбе Николая Рубцова... И очень много посвящений и посланий тем, живым и уже умершим, писателям сегодняшней России, с которыми Михаил Вишняков работал и работает в зоне взаимной видимости – Валентину Распутину, Станиславу Куняеву, Юрию Кузнецову, Анатолию Передреву, Александру Солженицыну, Владимиру Цыбину, Николаю Коняеву, Анатолию Гребневу, Станиславу Золотцеву, Владимиру Берязеву, Валентину Курбатову, Виктору Балдоржиеву, Владимиру Башунову, Сергею Иоффе, Анатолию Пчёлкину, Виктору Еращенко... Вникая в этот растянутый на два тома и всю творческую жизнь разговор с литературными предтечами и современниками, видишь, что поэт пишет им свои поэтические письма не столько для того, чтобы объяснить что-то своим адресатам, сколько для того, чтобы, размышляя над их личностями и особенностями таланта, самому понять что-то очень важное в судьбе и роли писателя в этом мире. Такое понимание просматривается, к примеру, в описании образа Валентина Распутина, с которым поэту довелось не раз встречаться на различных литературных совещаниях и семинарах: *Приехал Валентин Распутин. Речь / не бросит с ходу, словно шубу с плеч. / Степенное упрямство мысли. Брови / натянута обидчивой струной. / И взгляд впопых, как стволлик нарезной. / Но не уклончив, а мерцает вровень / с отечественной болью и виной...* Вот увидеть в глазах товарища по литературе эти самые отечественные боль и вину – это и значит понять суть писательского назначения, самому стать настоящим писателем. То же самое сквозит и в “Письме Станиславу Куняеву”, в котором автор вроде бы всего лишь сообщает своему адресату о том, что он уехал на всё лето из города, а на деле получается некий мировоззренческий манифест об уходе от литературной суеты в свой внутренний мир, о переходе в иной творческий возраст, где на место литературных споров приходят самоуглубление и раздумья о главном: *Передайте – в начале весны / я ушёл, и теперь уж надолго, / словно эхо, в глубины страны. / Моё шумное вече замолкло... / Я теперь на стоянке степной, / осознав свою жизнь в полной мере, / волен думать о правде земной, / как седой страстотерпец о вере. / Здесь моё золотое зерно / из бурьяна и чертополоха / прорастает сквозь толщу эпохи, / копь иного уже не дано. / Что посеяно, то и взойдёт. / А земля – она всюду жилая. / Всюду трудится русский народ. / Свищет космос и бездна пылает.*

Сюда же, к этому “руслу”, относится и венчающее первый том избранного прозаического эссе “Перо краевое”, имеющее подзаголовок “Судьбы писем в Сибири”, в котором помещены размышления о таких писателях, как Валентин Распутин, Станислав Куняев, Виктор Астафьев, Юрий Кузнецов, а также частично о Сергее Есенине, Пушкине, Михаиле Дудине, Расуле Гамзатове, Валентине Курбатове и некоторых других.

Работу над этими записками автор заканчивал в глухом таёжном зимовье на Даурском хребте, куда он ушёл, чтобы походить по соболиным следам, поставить ловушки на колонков, пострелять рябчиков, в конце концов, “просто посидеть, потоптаться вокруг избушки, дров нарубить, подышать нежной синью и морозно-алмазной ясью высоты. Подумать. Вспомнить былые путики, тропы, скалы и перевалы, изголовья студёных ключей с брусникой, голубикой, княженикой...” И эти его, в общем-то, естественные желания проливают свет на весьма обширный круг стихотворений, которые составляют собой второе тематическое “русло” его творчества, вбирающее в себя, главным образом, произведения, посвященные красоте родной забайкальской природы и той первозданной гармонии, которая была изначально явлена человеку Господом в сотворенном Им мире.

Здесь всё – сродни искусству, всё радует глаз и душу, делая человека сопричастным Божественной красоте. Смотреть на окружающий мир, жить в нём, быть его органичной частью и чувствовать, как душа наполняется тихим светом простого естественного счастья, – в этом, пожалуй, и была одна из самых больших радостей ещё не отравленного соблазном гордыни человека. От принадлежащих к этому “руслу” стихов веет таким же умиротворяющим покоем, как от полотен Левитана и Васнецова, их можно прописывать, точно лекарства, от нервных срывов и сердечного расстройства. А можно просто бродить среди них, будто посреди деревьев, цветов или сугробов, напивая душу красотой и беззлобностью разворачивающегося перед глазами почти сказочного мира, в котором нет ничего неживого и неодухотворённого: *Как тёмные старцы, молчат предо мною / деревья в натёках янтарного зноя, / в проточинах витиеватых ветров, / в зарубках неведомо чьих топоров; Белые вербы Даурии, утренняя белизна. / Словно грудных младенцев распеленала весна. / Яркое солнце выпило белые шапки льда. / Возле степных колодцев громко ревет стада; Нагорных лиственниц, калёных / огнём и звоном высоты, / пропитанных сырцом ядрёным, / стволы, как яркий воск, желты; И ударил в ноябре мороз / чистокровный, кованный на зорях, / с крепким хрустом снега и берёз. / Словно в прорубь вмёрзшая звезда, / вся в занозах инея и солнца / заиграла льдинками вода. / Как тут усидеть наедине! / Даже остроглазая синица / продышала “зёрнышко” в окне; Лето в разгаре. И запахи резки и дики. / Вереск удушлив, багульник пьяняще-медов, / пади, как синей пургой, замело голубикой, / за перевалом – озёра звериных следов; Эти белые плечи берёз отцелованы в ночь звездопада, / и склонилась заря к повороту земной колеи. . .*

Цитировать стихи этого ряда можно было бы ещё и ещё, из них выходишь так же неохотно, как из берёзовой рощи, отгоняющей лепетом своих листьев все наваждения и тревоги окружающего века. А ведь есть ещё очень плотно примыкающие к этому “руслу” (можно сказать – пораскинулись, точно таёжные заимки по его берегам) стихи об испоконвековечном, как и сама природа, и подчинённом законам и ритмам этой самой природы забайкальском быте, который, я бы сказал, уже и сам по себе представляет некий своеобразный подвид поэзии. Поэзии – народной жизни: *Терпкий дух непыханой земли. / Табуны. Стада. Скотопрогоны. / В избах деревянные иконы / с ликом косоглазого Ильи; Дом под крышей, где застряли в трещинах / яркие осколки синевы, / крепкий запах мокрого орешника / и сырой картофельной ботвы. / Пол из плах широких, ровно колотых, / выхолен со щёлоком, с древесной, – / отливает белизной и золотом / и притрушен свежеею травой; Золотые осенние рыжики / в светлых вёдрах, под крепкими крышками / усолели – отведать пора. / Лист смородины снимешь, и точно! – / зарумянились нежные, сочные – / жар зари – по эмали ведра!; В последние копны у тёмной реки / легли, остудившись, тяжёлые травы, / и женщины тихо снимают платки / и ждут мою лодку, боясь переправы. . .* Для того, кому однажды открылась поэтика этого установленного Самим Творцом размеренного уклада, счастливая жизнь отныне становится невозможной вне координат естественно-природного цикла бытия и чистого, растительно-животного, окружения. *Для бурной, впечатлительной души / не много надо. . . Вот расцвёл багульник / Вот чиркают по синеве стрижи. / Вот май пьянеет, буйный и разгульный; Чарует мир, где солнце тонко светит, / а ночью звёзды инеем шуршат. / Живи, как Бог, сезон или столетье – / ум чист и ясен, и вольна душа; Поселился в избушке. Пишу. / А не пишется – лампу гашу. / Наблюдаю за щелью небесной – / что там делает кто-то не местный? . .*

Последнее четверостишие – это уже попытка осуществления своего собственного рецепта жить “как Бог”, стремление соответствовать тем выводам и истинам, к которым поэт подходил на протяжении всего своего творчества, то погружаясь за ними в книги своих друзей и литературных предшественников, то отправляясь в укромные уголки Забайкалья, а то пускаясь в странствия по давно отшумевшим векам и эпохам. Здесь, в образующих третьё тематическое “русло” стихах и поэмах исторической тематики, вспархивают имена Аввакума, Чингисхана, Пущина, Лунина, вспоминаются древние легенды и были, звучат мотивы славянской истории, пересказываются детские воспоминания, семейные хроники и воссоздаются иные картины российского прошлого и жизни далёких и не очень далёких предков. И надо сказать, что история

входит в стихи и судьбу поэта вовсе не из одних только музейных залов и архивных книгохранилищ, она окружает его повсюду – запечатлена в потемневших особняках и зданиях Читы, старинных сибирских трактах, названиях забайкальских рудников и селений, острожных песнях, пересказываемых стариками воспоминаниях о Гражданской войне, да, в конце концов, просто разлита в самой природе: *Старинные казачьи караулы. / Граница. Вечер. Громыханье туч. / Прибрежный ветер, обрастая гулом, / как ил в протоке, вязок и шипуч. / Прядёт Аргунь свои седые воды. / Но – чу! – лишь ухом к плёсу припади: / ржут табуны, сшибаются народы, / проходят караваны и дожди...* История для Михаила Вишнякова – это не просто оставшиеся за спиной даты и факты, но его реальная среда обитания: он дышит теми же ветрами, что били в лицо Чингисхану и князю Игорю, обжигаем теми же морозами, которые до костей пробирали ссыльных декабристов и репрессированных Бамлага, ходит по той же тайге, по которой бродили казаки Ерофея Павловича и даурские партизаны, пьёт из тех же колодцев, из каких черпали воду его деды и прадеды: *Когда мой дед был молодой, / а бабушка молоденькой, / они ходили за водой / колодезной, холоденькой. / Босые ноги жгла роса, / вилась тропинка узкая. / У бабушки была коса / пушистая и русая. / Век девятнадцатый сиял / над полем и над звонницей. / Тогда никто не понимал, / чем это всё закончится...*

Не понимаем этого и мы, сегодняшние, хотя апокалипсические картины разворачиваются уже не где-то на мифологических просторах, а прямо у наших собственных окон. Потому что причины сегодняшних российских бедствий, скорее всего, следует искать не в абстрактных учениях о закономерностях смены общественно-экономических формаций, а в тех так до сих пор и не преодоленных нами за столетия грехах и пороках, которые мы упорно переносим в своих собственных душах из одной эпохи в другую. Не случайно же поэт задаётся таким тревожащим его (и беда в том, что, похоже, почти едва ли не его одного во всей стране) вопросом: *Ведь что-то же в мире связует / в любом отдалённом краю / и эту эпоху сквозную, / и личную совесть мою?..*

История – это портрет народа в его развитии, портрет не статичный, а, как сказали бы ушлые сегодняшние компьютерщики, *анимационный*, то есть движущийся, показывающий изображённого на нём персонажа не в застывшей неподвижности, а именно в его действиях и поступках. Народ на протяжении своего шествия по истории может совершать великие подвиги, а может – и безумные ошибки, но главное, что показывает история, это то, что в историческом плане народ представляет собой один общий организм, некую суммарно-коллективную величину, одно неразрывное целое, связанное общим языком, памятью, традициями, верованиями, культурой, идеями и целями. Там, в глубине тысячелетий, выковывался наш славянский дух, формировался народный характер, добывались наши национальные победы: *Идут дружинники и вои, / несут мечи над головою, / плывут на лодиях гонцы. / – Найдёшь ли рать, чтоб покорила / сынов Перуна и Ярила? – / кричат на требищах жрецы...* Там, в толщах исторических пластов, в которых искусство и созидательный труд то и дело переслаиваются эпидемиями, войнами и бунтами, лежат истоки того спасительного для русских людей чувства, которое мы называем патриотизмом и которое расщепляется на такие простые, на первый взгляд, но такие державообразующие составляющие, как: *Отечество. Народ. Служенье долгу. / Потребность правды. Жажда красоты...*

Обращение к истории оказывается насколько спасительно-подпитывающим для поэта, настолько же для него и опасным, ибо, с одной стороны, открывает перед ним бездну широчайших народных характеров, примеры неистового служения Отчизне или высокой идее, образцы государственных деяний, галерею выдающихся личностей, разлив национально-освободительной борьбы, торжество многовековых этнокультурных традиций и расцвет национальных литератур и культур, а с другой, даёт возможность сравнить всё это с уровнем интеллектуального, духовного, культурного и гражданского развития общества в наши дни и придти к горькому и неутешительному выводу о его деградации, почти полной утрате своего менталитета и превращении в безликую массу разобщённых потребителей хот-догов и пива “Клинское”. *Догорает страна, как осинник. / Верить – больно, не верить – больней. / Ничего не случилось с Россией – / дым Помпеи клубится над ней.* Стихи последнего, четвёртого “русла”, – это самые тяжёлые страницы во всём двухтомни-

ке Михаила Вишнякова, передающие его полную разочарованность современностью, причём не только двумя последними десятилетиями с их откровенно бесчеловечным реформированием устоявшейся жизни, но многими сторонами советской действительности 70-х годов. Вот как он пишет в стихотворении “Семидесятые годы не резкие” об этом периоде российской истории, получившем в устах “прорабов перестройки” оскорбительное название “застоя”: *Словно назревшее сопротивление, / в каждой газете цитаты из Ленина. / Память открылась и совесть горчит. / Интеллигенция глухо ворчит. / Но раздражает молчанье народное. / Может быть, вбитое, может, природное. / Каждый задумался наедине. / Звон орденов, словно шквал по стране...* Однако и разрушение казавшегося многим ещё недавно нежеланным строя не принесло желанной свободы и благоденствия ни народу, ни его интеллектуальной элите – писателям. Более того, воспринимавшийся как нечто предельно негативное для развития страны период стагнации сменился ещё более неясной и пугающей фазой, за которой не видно ничего, кроме тоски и бесперспективности: *Вот и ушла в небывалое эпоха / дутых героев, лжецов, скоморохов, / гнувших Россию, как ветер нездешний. / Камо грядеши? О, камо грядеши?! К сожалению, подлинно НЕЗДЕШНИЙ ветер как раз и задул после того, как с государственной сцены сошли эти пускай и “дутые”, но всё-таки сохранявшие политическую (и какую-никакую экономическую) устойчивость в СССР герои. Вот потом-то у нас, собственно говоря, и начались нескончаемые и кошунственные танцы на могилах былого величия и славы: *Допивается чаша славянства. / Вымирает, как обры, народ, / покоривший такие пространства, / сам попавший в такой оборот.* Никто не спорит, Россия – такая страна, что в ней практически в любые периоды истории было трудно жить “весёлым и честным”, но в наши дни это стало особенно невыносимо. Сегодня – тут воля чеченцам, свобода цыганам / и всем племенам этим диким и странным, / где чукча из чума, как из анекдота, / смеётся над всеми легко и вольготно. / А русский, поднявший гранёный стакан, / вчера не напился и ныне не пьян...*

Но дело, однако, вовсе не в том, что сильнее осуждает и не приемлет душой поэт Михаил Вишняков – хрущёвскую оттепель с её обезличивающей стандартизацией (*В большом Свердловске, в маленькой Чите / одни и те же безликие строенья. / Архитектура стала поклоненьем / чему угодно, но не красоте*), брежневский застой с его безнадёжной стабильностью (... *Что мне обиде слезы земли, / если дома так пусто и голо? / Если сердце, вещая беда, / не печётся о видимой славе, / если снова талоны в ходу / в эталонной для мира державе?*), горбачёвскую перестройку с её апокалипсическими катастрофами (*Когда взошла Полынь-Звезда, / непогасимая в то утро, / то не трагедия труда, / а ужас перед русской смутой / явил народам наконец, / что мир посажен, как Чернобыль, / на цепь из ядерных колец, / а космос – только крышка гроба*), ельцинское самодурство с пьяным дирижированием и нескончаемой правительственной чехардой (*Доложили Чубайсу, / Ельцин был с похмела. / – Я вас всех отдубасю / за такие дела!..*) или недавнее холодное многословие, под шум которого тонули наши атомные подлодки, падали самолеты, распродавались за гроши национальные богатства и недра да стремительно вымирал государствообразующий русский народ (“*Очарованье Путиным погасло*”), – дело в том, что современная история, включая как “железо-атомный” XX, так и однополюсно-глобалистский XXI век, не несёт в себе ничего, кроме разрушения красоты и гармонии да насилия над человеческой личностью. *Люди читать устали / и занялись борьбой. / Век проходит, как Сталин, / каменный и рябой,* – тоже с нескрываемым чувством усталости констатирует поэт.

Российская история последних полутора столетий воспринимается изболелвшимся сознанием Михаила Вишнякова уже не столько как портрет народа в его духовном развитии, сколько, скорее, как его наглая и подлая подмена на некий “чёрный квадрат”, сквозь который пугающе смутно проступают какие-то полуапокалипсические картины: *На исторической родине зла / светятся тюрьмы, бараки пылают. / Власть, как овчарка, пронзительно лает. / Чья здесь душа отзовется на лай?!* Всё это, как говорится, действительно имеет место быть в нашей реальности, однако душевный трагизм автора двухтомника многократно усиливается ещё и тем, что, видя то реально осязаемое ныне зло, которое принесли России действия немцовых и чубайсов, он в силу каких-то своих внутренних причин не может (или же не желает) отделить семь-

десять лет – пускай временами и трагического, но всё-таки – вдохновенно-счастливого шествия России к будущему от разрушительного и кроваво-лживого горбачёвско-ельцинско-путинского двадцатилетия. Из-за этого аура сегодняшнего российского апокалипсиса распространяет своё зловоние и на весь советский период с его достижениями, победами и триумфами, вследствие чего тот однозначно положительный вектор, которым можно было обозначить рассмотренное нами чуть выше историческое “русло” вишняковской поэзии, накладываясь на столь же однозначно отрицательный вектор “русла” современной тематики, перечёркивают друг друга и взаимосопротивостоятся, в результате чего сохраняют свои значения только два первых русла, выраженные массовыми стихотворными посвящениями живым и мёртвым соратникам по литературному творчеству да обращениями к темам природы. Впрочем, поэт и сам однажды заметил, что всё, представляющее собой продукт деятельности человека, однажды погибает и утрачивает свою ценность, и только созданное Богом сохраняет свою изначальную гармоничность и продолжает своё движение от столетия к столетию. Как кони, которые приходят и пасутся посреди брошенного людьми, опустевшего и заросшего травой двора: *Что тянет их сюда под вечер, / какая русская печаль? / Всё одичало. Только вечность / одна не может одичать.* Таким образом, муза поэта в очередной раз выводит нас к тому невинному и чистому желанию “поселиться в избушке”, с которым мы уже сталкивались, рассматривая второе “русло” его поэзии. И в вызревании этого столь неприятельского, на первый взгляд, желания действительно проглядывает определённая истинность полноценного человеческого бытия. Красота былой жизни погребена под столетиями. Гармония и справедливость настоящего убита руками наших отцов и нашими собственными делами. Не изменяют только любимые книги, журчащие таёжные реки, скрипящие за тёмными окнами избушки деревья да потрескивающие в печке поленья. *Верховья студёной Нерчи. / Здоровье и совесть в порядке. / При свете последней свечи / пишу торопливо и кратко. / Под бездной сверкающих звёзд, / пылающих к ясной погоде, / к морозу – крепчает мороз, / крещенские ночи приходят. / Так тихо, кричи иль молчи, / лишь наледь, как пушка, стреляет, / да жар от чугунной печи / смолу с потолка вылавливает. . .*

Тот, кто подумает, что это призыв к дезертирству, глубоко ошибётся. Это призыв к возвращению нас к самим себе, к тому образу, который в нас был заложен Творцом изначально. И Михаил Вишняков заговорил об этом в своих стихах вовсе не потому, что его душе стало невмоготу переносить именно сегодняшние несправедливости жизни, он на протяжении всего своего творчества обращался к природе и естественному укладу жизни, как к тому самому колодцу, к которому ходили за водой его молодые дед и бабушка. Неспроста, наверное, как некий общий для обоих томов мировоззренческий эталон, в каждом из них (по недосмотру редактора или воле случая) оказалось напечатано стихотворение “*Как тёмные старцы, молчат предо мною / деревья в натёках янтарного зноя*” (т. I, стр. 192, т. II, стр. 34), заканчивающееся словами: *Витают по древу проточины мысли / о бренности глуби, о тщетности выси, / и, кровь леденя, затворяя язык, / над промыслом разума плачет родник.* Слезы, как известно, сущность очищающая. Так что пусть плачет. Глядишь, и омоет наш разум от вековечных бед и побед, заблуждений и гордыни. . .